

Ольга

Миленко



ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ИССЫК-КУЛЮ

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ПАШИ СВИРИДОВОЙ

Рассказ-быль

Жизнь в деревне течет, как текла, своим чередом. Под мерное тиканье бабких ходиков, под это старое, пьяненькое:

А ветер дуи-ит, сподуваи-ит,

А сад зелененькы-ый шуми-ит...

Мы в отдаленье все эти годы интересовались, осторожно выпрашивали, как она – эта «жись» в самом деле, впрямь и не иначе, как вообще... И всегда слышали одно и то же, почти как в той песне про прекрасную маркизу: «Все хорошо, только вот Колька Чичмарёнок сгорел от водки, хороним намедни – весь чёрный! А так все хорошо... Дядь Миша Власов, пастух – застрелился весной, а так все вроде по-прежнему... Да! Нюрочка совсем с ума сошла из-за мужика своего... А так все хорошо... Ничего... по-прежнему...» «...Ну еще у безногого с недавних пор мужа тетки Паши вторую ногу отрезали. Был Володька Школа и нет его – лежит обрубок бездвижный, только кудри русые кольцами выются, да глаза синие тоскуют в темной хате... А так... все хорошо... ничего... по-прежнему...» Красивый край – почти Эльдorado, сказочная Белая Арапия.

* * *

Кстати, историю нашей тети Паши Свиридовой я узнала совсем недавно. Из всех детей Свистуновых была она пятой дочерью в семье, и помню я ее голубоглазой девушкой-подростком, даже ее пионерский из линялого штапелья галстук, доставшийся потом Нюсе, помню, поскольку, хотя и шел на дворе уже шестидесятый год, а гладила Нюся галстук старинным чугунным утюгом, который нагревала горячими угольями из бабкиной русской печки. Утюг был тяжелым и грозно шипел, прикасаясь к обрызганному загодя галстуку. От бесконечных глажек штапель выцвел из кумачового до пурпурного цвета. То же самое было с галстуком и седьмой по счету моей няни, тёти Маруси. Никогда не забуду, как они развешивали свои пионерские галстуки на самое почетное место в доме – на спинку кровати, дедовой железной койки, рядом с солдатским фронтовым ремнем, блестящим золоченой пряжкой со звездой. Пряжку чистили мелом, она пахла воспоминаниями о войне, песней про синий платочек и вальсом «На сопках



Маньчжурии», которые наигрывал на гармошке мой тогда уже очень взрослый дядя Володя Свистунов. А тятиным ремнем пугали всех, даже меня.

После школы тетя Паша поедет учиться в Пржевальск на шофера и встретится там со своим первым суженым Володей Свиридовым. Им выстроят всем кагалом крепкий саманный дом, помогут заложить большой фруктовый сад.

Поставят молодожены баньку, посадят у окон черноокие вишни и проживут в счастье целых три года, родив сына Витю. Мечтали они пристроить к дому солнечную большую веранду с окнами на юг, да с мальвами и георгинами под окнами, да с синими ипомеями-вьюнами под самую крышу.

Так оно бы все и было, если б не забрали Володю Свиридова в Армию. Пытался он увильнуть от службы, да так и не избежал в свои двадцать три года. Ушел служить, поклявшись любить Пашу до гроба и не забывать о маленьком их сыне Вите.

Скучала молоденькая Паша Свиридова о своем Володьке шибко. Подсобрала как-то раз харчей, сала да масла топленого, напекла пирогов с курагой и капустой, попросила домашнего самосада у тяти и айда на поезд, к черту на кулички в войсковую часть к любимому, не сказавшись. Сюрприз задумала. Вот ахнет суженый от радости! На руках понесет, исцелует, затискает в объятьях. А мороз выдался под сорок. Сибирь. Воробьи льдышками на лету от холода падают. А горячей девке только еще жарче от мысли о встрече с любимым. Разыскала часть, зашла к дежурному по части. Мол, Свиридова я, Паша с Иссык-Куля, третий день еду, мне бы Володю увидеть... Шибко соскучилась. И сует гостинец.

– Помоги, командир, век не забуду...

– Не положено, гражданка! – сурово отвел руку с гостинцем дежурный офицер. – На вахте Свиридов. Часа через три освободится. А потому пройдите-ка в КПП, гражданочка.

Кликнул сержантика, и повели Пашу в КПП. Там-то солдаты посговорчивее оказались. И гостинец приняли, и пузырек, и чаю Паше предложили.

Из разговоров солдатских вытекает, что вроде Свиридов вовсе и не на вахте, сменили его, да задержался он там по делу, вроде как замкнуло где-то провода, а Свиридов спец по этой части. Короче, на вахте он, но на другой, на трудовой. А значит, можно к нему. Посмеиваются солдаты, а значит, ничего серьезного. Вроде нельзя, а вроде можно, не такая уж там и вахта важная. Ну да ладно! Пожалел девку сержант, глаза отвел, родинка у нее на щеке, сама маленькая да ладная, веселая, аж светится. Провел дворами. «Видишь тропинку? Так и иди до самого моста, пока не увидишь “вахтенного”!» – усмехнулся он.

А замять пошептывает. Не большая, не маленькая. В самый раз замять. Над столбами нимбы от фонарей, снег, точно белые бабочки кружатся, хорошо!

Идет Паша, личико фарфоровое еще тоньше, еще точенее от волнения стало. Фонари ярко светят, за сто метров снежную завесу просвечивают. Вон и фигура солдатская на мосту в тулупе. Рванулась Паша радостно, сердце забилося, да так в пятки и рухнуло. Уж больно толстый тулуп на солдате! Глядь, а под тулупом две пары пимов. Шапка вроде одна, а пимов две пары.

Подошла сама не своя от волнения, ноги заплетаются, а родненький-то не один... Поздно заметил. Глядит Паша, а в тулупе у него девушка. Солдат чужим показался. Разве же это Володя?! Клялся ведь до гроба...

Попытался Свиридов выкрутиться, поняв, кто к нему нагрянул. Заюлил.

– Замерзла вот девчонка, это... как ее... медсестричка наша гарнизонная, перевязку приходила мне делать...

И показывает грязный бинт на пальце.

– Какая такая перевязка? – не поняла ничего Паша. – Я вот тебе тут колбаски домашней привезла, калачей, маслица...

Смотрит Паша, а девушка-то усмехается. Стоит медсестричка, не уходит. Смелая, глаза гордые, с цыганщинкой.

– Я, – говорит, – твоего Володю от гангрены спасла. Мой он. Ребенка от него ношу. Делай что хочешь, а я его никому не отдам! Лучше убей!

Ах ты ясное море! Бросился было Володя Свиридов к жене:

– Пава, милая, прости! Я от тебя не отказываюсь. Видишь ли... Тамара действительно жизнь мне спасла... Но я... я ведь...

– Да плевать бы мне на твою Тамару, – гордо усмехнулась Паша. – Если бы не положение ее... Я у чужих детей отцов не увожу! Дай ей бог разродиться!

Кинула она ему мешок с харчами и больше – ни слова. Повернулась, как деревянная, и пошла, и пошла. Думала, бросится вслед родненький. Нет. Не бросился. То ли стыд обжег, то ли слезы не захотел свои показать. Даже не спросил, как там Витя, сынок его.

Закурил папироску, сказал зазнобе:

– Ты... это... беги! Как бы не случилось чего... Пусть подождет меня...

Что уж там сказала еще Паше Тамара – неизвестно. А только Володя Свиридов Пашу больше так никогда и не увидел.

Через год написали Свиридову, что вышла Паша замуж за Володю Школу, даже фото выслали. Был Володька Школа красивее Свиридова, одни кудри чего только стоили! Да Паша, видать, надломилась после измены своего первого возлюбленного. Стала она с тех пор пить по-черному. Споила и Володьку Школу. Ноги-то Школа как потерял? Почернел у него как-то от беспробудного пьянства и табака большой палец на ноге, омертвели ткани – пришлось отрезать. А затем – ступня, дальше – голень до колена. Предупредили доктора: «Не бросишь курить и пить, так все конечности по частям и потеряешь, сначала ноги до основания, потом и руки. Бросай пить, Володя!» – «Ни за что!» – ответил Школа, продолжая пить и курить самозабвенно.

Когда мы приехали в Ой-Тал, не было у него уже обеих ног до основания.

* * *

– Кстати, как там дядя Володя Школа, живой? – вспомнили мы.

– Та живой... не приведи Господи такое житье, пять лет лежит с пролежнями на боках, и хоть бы одна живая душа на улицу вынесла. Паша бьет его. Пенсию за него получает 80 р. Получит – и в пьянство, а Володька лежит... Вы бы его, ребята, свозили на море.

И братья встряхнулись, озаботились.

Однако на море собрались не сразу. Был негласный ритуал – по приезде навещать могилу деда. Постояли, выпили Пашиной малиновой бражки за помин души, потом вырвали коноплю и полынь, буйно разросшуюся на могиле, и вспомнили, как перед смертью однажды, долго глядя в небо, дед раздумчиво и отрешенно сказал:

– Скоро я уйду в звезды, – холодной бездной потянуло от этих слов. – Скоро я уйду в звезды... не плачьте по мне, человек уходит в звезды, и горевать глупо.

А теперь он глядел оттуда, сверху, и было не страшно от его синих, потусторонних, опрокинутых в вечность глаз, смотрел и, наверное, радовался – какая рясная уродилась скороспелка в этом саду. Натрясли полную сумку, щедро отсыпали половину соседскому ишаку и выехали в третьем часу, забыв парализованного дядю Володю. Но Игорь вспомнил, затормозил.

– Может, потом? – неуверенно запротестую я. Так хотелось побыть наконец-то наедине с морем. С братьями.

– Я себе «потом» никогда не прощу, если мы его не возьмем с собой, – раздраженно откликнулся Игорь и круто завернул к дому Паши, в который, надо признаться, страшновато было входить – если уж Паша начинала «фестиваль», то это длилось годами. И годами в доме не мылось, не белилось. Здесь можно было застать всё!

Я смалодушничала и осталась у ворот дома ждать братьев. Однако, почувствовав себя неудобно от мысли, что, может быть, братьям нужна помощь, вошла, скукожившись, в утлую нору, где лежал и тлел бывший танкист Володя Школа. Лежал пять лет, уставясь в черный потолок, забыв, что такое солнце, трава... Будничный серый сумрак обжился здесь навечно, а плесень годами завоевывала углы и стены, рисуя диковинные миражи и фантомы. Игорь рысью бегал по углам, ища чистое белье и рубашку для дяди Володи, и ничего не мог найти и отрыть в слежавшихся завалах. Павлик психанул и рванул сияющие заклепки своего пляжного блейзера – на! Я в майке... Вместо штанов отыскивали какие-то линялые голубые кальсоны – а! сойдет, в машине не видно, лишь бы самого прикрыть. Они с трудом облачили дядю Володю. И здоровенный Павлик поднял сухонький обрубок тела на руки и, содрогаясь, понес. И лишь когда усадили дядьку на переднее сиденье машины, включили маг да захлопнули пинком разинутую дверь, с облегчением в сердце увидели, как он радуется!

– Он так ра-адуется! – шепнул довольный Игорь и сам просиял и возгордился собой как никогда.

И поехали к морю тихо-тихо, чтоб полюбовался дядька облепиховыми джунглями, хотя непривычное солнце резануло его по глазам, как бритвой, и, не в силах превозмочь эти режущие лезвия света, дядька облился слезами. Ему дали платок, и он долго промокал глаза, а когда справился со слезами, то вдруг увидел, как впереди машины по двуколке во всю прыть мчится... заяц! Не заяц – зайчишка, подросток и глупыш, не в силах от страха сигануть в кусты. И дядька, давно разучившийся говорить, всхрипнул, прорезал молчание ржавым саксофоном: «Во! Во! Дурачок, ну куда, ну куда? Испуга-а-ался... малыш... маленький, ишь прыткий какой!»

Потом вспомнят, как он будет всю ночь рассказывать про эту поездку, про зайца, про фазана, пролетевшего якобы над самым капотом, про чумазных коров, возвращавшихся вечером с болота домой, и Паша прикрикнет под утро и побьет его, чтоб спал, но он ни на миг не сомкнет глаз, счастливо и возбужденно вспоминая каждую подробность, каждый штришок неслыханной прогулки. И так до самой весны, пока не помрет с блаженно-детской улыбкой в уголках рта.

А пока он сидел в машине, развернутой к морю, и ни за что не хотел оттуда вылезать – то ли кальсон своих стеснялся, то ли боялся расстаться с пухлым сиденьем, японским магом и всякими блестящими штучками, украшавшими машину и рассказывающими о какой-то другой, неведомой, роскошной, ослепительной жизни, от которой он так глубоко был упрятан в своей норе.

Он забыл, что у него нет ног. И когда Павлик ответил дядьке, что не может купаться по причине простуженного горла, дядька запросто пообещал:

– Хэ-э! Вернемся, я тебя вылечу! Молоко... с медом! Сходим к соседям за парным, – и даже не осекся, уверенный, что он такой же, как все – сильный, веселый, ходячий.

Потом замолчал надолго и все смотрел, смотрел на море с каким-то прояснившимся, умиротворенным лицом и не мог насмотреться.

Мне даже стихи белые сочинились:

О, это терпкое вино раздумий,
Которое хочется пить и пить,
Слушая, как гул моря
Сворачивается в раковине уха.

* * *

А когда, бесшабашно запозднившись, вернулись и остановились возле Пашиного дома, Школа с такой ненавистью глянул на этот дом, с такой нечеловеческой тоской, что невозможным показалось вот так сразу вынести его из машины. Видно было, как ни за какие сокровища мира не хотел расставаться он с чудесным, ярким, улетающим, как Жар-птица из рук, днем. Пришлось посидеть с ним для приличия. Покурили, поболтали ни о чем, чувствуя себя почти подлецами, с обманом и обещаниями понесли торопливо дядю Володю в дом, словно не человека, а тритона какого бережно и терпеливо определяли в кунсткамеру.

«Вот тебе и Белая Арапия, Эльдорадо наше...» – скажу я, поднявшись на бабкин бугор, вздохнув длинным каким-то протяжным всхлипом, сглотну застрявший в горле не то ком, не то крик, и замру... Внизу, далеко в мутной синеве каменистой чащи, простиралась Она – окруженная по краям гор бастионами облаков Мерцающая Арапия, с отраженными звездами. И... тот берег в одуваньем пухе тумана понизу, и над всем этим бледно-жемчужный свет полнолуния, под куполом непревзойденного Храма, одурь лунного света и тишины, святилище звезд.

– Да-а – зрелище не для смертных, – перехватив мой потрясенный взгляд, поспособствовал Игорь, и мы растворились в неизъяснимом.

Тонкие покровы ночи приоткрылись, расступились черные ущелья жизни, упали к ногам созвездья окон, и мерцающий воздух проник в души, вытесняя печаль.

И только острая иголочка в сердце, ведущая жадную запись мгновений, тихо и все настойчивей стала покалывать: в путь, в путь – время не ждет, время – деньги, пора, пора. Неужели пора? Как пора? А Это?..

– Едешь? – осторожно спросил брат.

* * *

...Почему-то вспомнилась неожиданная прошлогодняя весть о смерти тети Паши Свиридовой. Всплыли в памяти: несчастное захолустье, бедная моя родина, хижина-развалюха и она – человекоподобное, страшноватое существо, которое называло себя моей тетей.

Ее убили ночью из-за стакана водки. Задушили подушкой. По крайней мере, такие слухи ходили после загадочной смерти.

Почти никого не осталось, кто помнил бы, какой она была в молодости, до дня своего падения, кроме меня. А ведь когда-то...

Когда-то у нее были мечтательные, яркие, как незабудки, глаза, легкая походка и небесные черты. Она любила романтические книги, белые паруса и отважные одинокие заплывы в море. Ах, ее бы ту, да в наряды нынешних супермоделей! Или в те синие и сиреневые шифоны, которые так и остались лежать нетронутыми на дне ее сундука.

Обуреваемая благородными идеалами героического времени, девчонкой она хотела стать и стала второй Пашей Ангелиной.

Увы, фотографии шестидесятых запечатлели сей редкий цветок в грубой фуфайке, в кабине трактора, на фоне свинофермы.

Неуклюжая похабная жизнь пригнула ее так низко и сразу, что она даже не успела рассмотреть в зеркале, как прекрасна юность. Она даже не успела побыть молодой.

И все же однажды ей наверняка пришла в голову запоздалая мысль-отрава. Не могла не прийти, в часы горького похмелья, в сумерках неожиданно подкравшейся страшной жизни...

Мысль, что она была, была когда-то необыкновенной и пленительной. Свидетельством тому осталась пара-тройка фотографий. Да и в банях жарких, деревенских открылось ей, наверное, нечто. Неизвестно с каких пор, но до конца своих дней она носила кофту на голое тело, со слабыми, все время расстегивающимися петельками. При любом резком движении пуговицы выскальзывали, кофта распахивалась, и тогда обнажались невиданной красоты груди, не знающие себе равных по совершенству. Их тугая, девичья свежесть, контрастируя со спекшимся, сморщенным в пьяных угарах лицом, производила оглушительное впечатление не только на мужчин, но даже на женщин. И она с удовольствием, забыв о летах, демонстрировала это чудо, словно дарила непотребные сокровища и тайну своего отчаяния.

Пожалуй, она была первой настоящей красавицей, миражи которых украшают с детства мою память, как безымянные цветы диких гор.

Еще я вспоминаю веер пожелтевших открыток, некогда украшавший ее тусклое зеркало в позолоченной раме. Открытки юности от воздыхателей. Каким же ласковым именем ее, оказывается, называли. Павлинка! А какие там были надписи! Одна из них, самая странная, завораживает меня своей тайной до сих пор: «...Павлинка, пава, панна души моей, милая! В окно моё снова стучит весна. И лес подступил и играет на птичьих свирелях. И синее озеро стало ближе, и берег. Неводом звездным прихлынуло небо в окошко. Лишь ты, ты одна у меня все невозвратней и дальше...»

РОМАН СО ЗМЕЕЙ

Пожалуй, самой счастливой из сестёр в любви и жизни была старшая из сестёр моей мамы Софья.

Кто только не рассказывал... мол, жениха своего Алёшку Спиридонова, развесёлого балагура и шутника, каких свет не видывал, отбила Сонька у своей двоюродной сестры Марии Коноваловой. Были они погодками и похожи друг на друга лицом и статью. Обе пригожие, но глаза чёртом меченые: то небо синее в них, то море лазоревое, а то трясина зелёная. Черты правильные, точёные, рост древнегреческих жриц.

Характер у Мариши Коноваловой шибко капризный был. Смотрела она на чубатого Алёшку Спиридонова, жениха своего, и ничего в нём не находила особенного. Чуб жидкой стружкой, лицо широкое, сам хромой после войны вернулся, ногу сильно приволакивал. Её глазами – так калека. Был у Алёшки Спиридонова нрав весёлый, как у Василия Тёркина, а Маришка принца Гамлета ждала, капризничала пуще, чем гоголевская Оксана перед кузнецом Вакулой. Та царские черевички потребовала за свою любовь от Вакулы. А Маришка серебряный браслет-змею захотела себе. Шёл 1946 год. По тем временам эта просьба была неисполнимая.

– Ежели любишь – добудешь! – гордо сказала жениху нескромная красавица и зашлась смехом, точно бубенчики зазвенели. – Тогда пойду за тебя, а нет – не обессудь, синеглазый ты мой.

Алёшка расшибся в лепёшку, достал денег. Сам в заплатах, а деньги занял немалые. Поехал в город, купил браслет-змею, но хватило только на мельхиоровый.

Приехал на Пасху вечером, закат над Иссyk-Кулем разгорался, как Жар-птица. Идёт, а девки, как на грех, возле Маришкиного дома сидят. Озорные, усмешливые, крашеными яйцами бьются.

Выиграла себе Маришка кучу яиц. Нос высоко держит. Алая лента в косе, на подоле рюши с воланами, юбка новая сатиновая в голубых розах на ней. Кофточка кремовая продувная, с рукавом-фонариком. Краше в селе нет. Может, только одна Софья в соперницы годится. Да только у Свистуновых в семье Сонька старшая небалованная, работница, нянька, Золушка, а у Коноваловых Маришенька – младшая единственная дочка-поскрёбышек, заласканная, в холе да неге выращённая.

– Ну что – привёз змею? – спрашивает она, а сама смехом серебряным заливается, не знает ещё, хочет ли за хромца замуж. Плотник-то он хороший, да гол как сокол. Сирота к тому же. То ли дело – Маришка! Глянешь на неё – и видно, что и мать, и тятка, и бабка у неё есть и тёток куча и дядьёв не считано.

– Привёз, цветик ты мой лазоревый, – смутился Алексей. – Только вот незадача – серебряных не было... давай свою ручку... мельхиоровый!

Маришка зарделась вся – польщенная, да перед девками, видать, покуражиться захотела, вырвала ручку свою белую из лапищ жениха.

– Нет уж, уговор был – серебряный... Серебряный, значит серебряный! – топнула ножкой.

Застыл, одеревенел Алёшка. Стоит красный, как редиска, на одной ноге, вторая до земли только носком достаёт. Смех, подколки. Провалиться бы на месте сквозь землю. Опозорила девка. Стоит насмехается. Нацелилась в самое сердце, как кобра. Не ожидал ни подвоха, ни каприза такого Алёшка. Плюнул. Подбросил «змею» высоко, со злостью:

– Лови, девчата! Кому?

Упала змея, лежит поблёскивает в сумерках. Завидная, лучше серебряной завлекает. В глазу камушек зелёный, чешуя червлёная, хвостик стрелочкой.

А тут вдруг откуда ни возьмись – вот она, Сонька!

– Кому как, а мне и мельхиоровая по душе, – говорит она.

А сама величественная, строгая, не верится даже...

– И ты мне, Алексей, по душе. Выйду за тебя, если Маришка такая дура. На, надень мне сам! – и протягивает свою крепкую руку со змейкой Алёшке.

Хотела вразумить Маришку, а оно вона как всё вышло.

– А что? И надену, – смахнув русую свою стружку со лба, сказал Алёшка. – На такую ручку да не надеть? И куда мои глаза раньше-то глядели?

* * *

Сняло, как рукой, любовную язву Алёшки. Стал он дом Маришки Коноваловой тридесятой дорогой обходить. Приударил за Софьей. Да чтоб звонче было, полушалок ей кашемировый подарил, в розах бордовых, с кистями – всем на зависть.

– Ой-ой-ой, ху ты ну ты – рожки гнуты! Ты его силой разлучила со мной, – набросилась на сестру Маришка. – Змея ты подколодная, силой взяла!

– Взяла силой, стала милой! – невозмутимо отрубил Софья.

– Он мне в любви поклялся. Форс держит... – не унималась Маришка.

– Тебе поклялся, за мной погнался, – стояла на своём Софья. – Смотри, женихов с войны мало пришло, будешь гонор держать – вековухой останешься.

– Завтра же прибежит, только бровью поведу, – смеялась Маришка.

Да только ни завтра, ни послезавтра Алёшка к ней так и не пришёл. Запала ему в сердце Софья. Вся жизнь на сто восемьдесят градусов повернулась.

– Счастье ты моё краденое, – потупясь, ответила ему Софья на предложение руки и сердца.

Был разухабистый, этакий смехач кучерявый себе на уме, а стал вдруг серьёзным Алексей. Остепенился рядом с Софьей. Она величественная, строгая. Он солидный, несмотря на хроющую ногу, серьёзный. Шутил без улыбки, балагурил остроумно с невозмутимо важным лицом, как у Софьюшки. Пара так пара! Две половины одного яблока.

Через год у них родилась моя двоюродная сестра Надя. А через восемь лет, когда родилась я, Алексей с радостью стал моим крёстным. Самый весёлый крёстный на свете. Неулыба.

ПОДКИДЫШ

1

В то дождливое лето заполонили наш заштатный курортный городок цыгане. Табор разбили где-то у гор, подальше от людских глаз. Но странный это был табор, не похожий на другие, поскольку и певцы, и музыканты в нем были блистательные, и красивые женщины в таборе, как в кордебалете, все стройные и гибкие, в танцах пленительнее экзотических мотыльков. И гадалки среди них не алчные, благопристойные, одно удовольствие было встречать их на площадях, в парке и возле рынка.

Мария Коновалова тогда уже всю гуляла по улицам со своим нареченным Иваном Журбой, художником милостью божьей, когда повстречалась им одна старая цыганка. Подошла, ласково попросила позолотить ручку.

Плохой приметой у обрученных считалось отказать цыганке. Проклятье, порча и сглаз, наведенные ею, могли быть роковыми.

Начитанный и насыщенный об этих цыганских штучках, Иван любезно насыпал горсть меди гадалке, за что сразу же получил сладчайшие в мире пророчества: мол, невеста любит тебя больше отца и матери, даже больше, чем ты ее... Свадьба у вас на носу, а проживете вы с ней долго, всю жизнь, и будет у вас

четверо детей: две девочки и два мальчика. Только вот зря ты думаешь, что невеста с тобой одного роду-племени. Сдается мне, не русачка она, кровь горячая, гордая течет в ней, тяжело тебе будет, если обидишь ее, а тем паче изменишь... Но будешь ты, яхонтовый, самым счастливым человеком, если станешь беречь и уважать ее, как равную себе.

Ухмыльнулись молодые люди, развеселились. Оба каштановые, сероглазые. Ну какая из Марии Кармен? Вон и носик курносый слегка, волосы мягкие, красноватые. А что смуглая – здесь на Иссык-Куле все смуглые.

Ещё запомнила Мария навсегда черноглазого седого цыгана-старика со скрипкой. Стоял он всё лето и осень в парке под старой липой и, пристально вглядываясь в лица проходящих мимо женщин, словно стараясь угадать фатум каждой, посылал им вслед какой-нибудь мотивчик. Любой его мотивчик был похож на импровизацию или маленький этюд, рисующий образ очередной прохожей.

Вот прошла изящная блондинка и... то ли «Карменсита», то ли Жига, то ли Куранта, то ли Чакона полетела прозрачным ярким шлейфом за спиной прекрасной незнакомки. Процокала каблучками другая, наклонилась, бросила скрипачу сущую мелочь, и бодрый мотивчик еврейского вальса засмеялся ей вслед с намёком на скупость дочерей Авраама. А может быть, это только почудилось?

Вот белой каравеллой приблизилась третья, строгая элегантная с гневным взором блондинка, и тотчас зазвучала «Хабанера» жизнерадостного Бизе, чтобы развеселить блондинку. Однако, видя, что губы дамы не дрогнули ни на миг, скрипач немедленно заиграл неистовую свою, гневную, цыганскую.

И да простит мне бог, хотя счастливых женщин провидел он меньше, рисуя звуками скрипки их характеры и судьбы, но всё же были и счастливые женщины! Посылал он кому-то вслед сладостные звуки «Карнавальской ночи», весёлую «Рио-Риту».

Марию всегда забавляли причуды скрипача, особенно его импровизации. Весёлые, озорные, они доставались уличным торговкам, мороженщицам, гадалкам, нищенкам, путанам и бродяжкам. Редко кого обижал старик вульгарной или непристойной музыкой. И мало кто, кроме Марии, разгадав его цыганский дар и юмор, что-либо понимал в его игре...

Что наигрывал он вслед Марии? Пока плохо ее знал – «Рондо в турецком стиле». Однако, когда Мария вышла замуж и он уловил это своим неведомым цыганским чутьём, он поприветствовал её сонатой. Той самой. Лунной.... Много тревоги и страстной печали услышала Мария в этих звуках...

И однажды, когда, вернувшись после недолгого отъезда в город, медленно, словно на эшафот, снова всходила перед скрипачом по ступенькам парка, под крону старой гигантской липы, боясь новых аккордов или импровизаций старика, словно пророчеств, случилось невероятное.

Боясь и жадая чудачеств цыгана, а потому смело глядя в его магические пронзительные очи под насупленными мохнатыми бровями, она услышала вдруг звуки дивной забытой страны из своих детских снов, ветер, волны, шелест оливы...

Держал скрипач смычок, подобный волшебному лучу. И плакал луч о жизни и смерти, о знойном синем Босфоре, о всех влюблённых – юных и седых, о всех навек разлучённых, помнящих друг друга даже за гранью бытия.

Играл скрипач, стоя по колено в бледном куреве-хмуреве тумана, словно плакал о далёкой родине, о всех грешниках и святых. Играл, витийствовал, встречал и провожал прохожих, даря каждому маленькое чудо взахлёб говорящей музыки, подобно птице Симург. И когда Мария поравнялась с ним, скрипач вдруг вздохнул и... замолчал.

Это казалось странным. Старик никогда не делал столь многозначительных пауз, никогда не смотрел такими тяжёлыми туманными глазами вслед прохожим и никогда лицо его не было столь печальным, задумчивым и отрешённым.

– Что ему нужно от меня, этому бродяге? – уловив его странный жгущий взгляд, подумала Мария. – Ну не влюбился же он в меня, в конце концов?! А если он охотник за девушками для своих чаболэ?

Много тёмных слухов ходило в ту пору о цыганах. Ничего хорошего не сулила эта встреча.

Она вернулась, зорко пытаясь всмотреться в глаза скрипачу, и величественным жестом бросила в его старую шляпу несколько рублей, что по тем временам было более чем щедро.

Старик спрятал глаза и, чуть не заплакав, застыл в немом экстазе перед Марией, тихо склонил перед ней свою седую цыганскую голову, всё ещё в буйных кольцах кудрей, потом уронил эту голову на скрипку, прижался к ней подбородком и взмахнул смычком...

Мария пошла прочь, ожидая чего-нибудь такого, например, любимую «Хабанеру». У него это получалось особенно замечательно и волнующе прекрасно. Однако, к её изумлению, окаянный старый цыган, издав всего один-единственный звук-всхлип, снова замер в глубоком молчании, словно преисполненный невыразимой печали и жгучих невозможных откровений.

– Ну нет уж! – вскинув голову, гордо рванулась Мария, ускоряя шаги. – Чего бы тебе ни взбрело в голову, старая бестия, а только я больше не приближусь к тебе ни за какие волшебные песенки даже на километр. Чёрт! Ведь и накликаешь чего-нибудь своим мрачным молчанием.

С тех пор обходила она стороной уличного скрипача, где бы он ни примерещился ей. А бывало ведь, мерещился. Однажды у ворот рынка почудились ей знакомые звуки скрипки. Пленительная «Хабанера» властно звала, томя и заставляя сладко замирать и замедлять шаги в толпе. А в другой раз на площади перед универмагом у фонтана возрадовался дух бессмертного Бизе над скрипкой старого цыгана с магическим взглядом. Никогда ни до, ни после не слышала Мария подобного исполнения.

2

Только вскоре исчез цыганский табор из города, а вместе с ним и цыганский скрипач-виртуоз.

Уехали и Мария с Иваном искать счастье под солнцем куда-то в Андижан. Родились у них действительно две девочки и два мальчика, всё как предсказала в то счастливое сырое лето цыганка. Одного не сказала цыганка – что старшая девочка родится мёртвой, а младшая умрёт от укуса змеи. Росли у Марии и Ивана Журбы два сына, и никогда бы не заговорили они про ту старую цыганку-гадалку, ни про того старого цыгана-музыканта. Не заговорили бы так страстно и подробно, словно это было вчера...

Случилась как-то томительной сухой осенью новость: приехала в Андижан навестить детей моложавая, ещё крепкая мать Марии, Катерина, женщина холодноватая, с гонором, если не сказать жёсткая. Приехала не просто, а с просьбой достать ей денег на покупку новой дачи.

– Да где ж нам взять такую сумму, маменька! – изумилась дочь.

– Вот-вот, дорогая, только и слышу всю жизнь от тебя отказы. А ты поскреби-то по сусекам-то! Не скаредничай!.. Авось не зря я тебя растила-нежила семнадцать лет. Не зря ехала в такую даль киселя хлебать!.. Вспомни, какая ты у меня красивая росла. В перламутровых туфлях ходила, вся в шелках-шифонах... Учила тебя, куска хлеба недоедала...

– Что же теперь-то из горла рвёшь, маменька?! – заплакала Мария.

– А не подавиться б тебе!.. – взвизгнула Катерина.

Слово за слово, разразилась тяжкая ссора... Досталось и Марии, и зятю! Уж такая тяжкая ссора разразилась, что хоть святых выноси. Закоснела матушка, годы сделали дело. Годы, а может, жизнь новая, паскудная, вся корыстью и жором пропахшая. И ведь была бы бедная, убогая... ан нет, с жиру взбесилась родимая, ещё один дом на берегу Иссык-Куля захотела себе.

Хлопнула было дверью матушка, да вернулась, задыхаясь от злости и проклятий неслыханных.

– Помяни моё слово, отродье цыганское! Я тебе не мать! И никогда ею не была! Подкидыш ты!.. Подкидыш цыганский, подзаборный, завшивленный... Помнишь, табор стоял?..

– Ну чё ты, мам, как в кино! – не поверила Мария, убегая от матери, как от оборотня зачумлённого, не помня себя, света белого не взвидя.

– Помнишь, забор стоял?! – ещё грознее и ядовитее загремела матушка, когтистыми пальцами вцепившись в блузку дочери. – У гор, возле Покровки? Там он останавливался в последний раз, когда тебе девятнадцать стукнуло. Там и останавливался, когда тебе около двух лет было. Мы тогда в Покровке жили.

Пришли цыгане, на ночлег попросились: «Мы тебе, Катя, и на животе, и на спине станцуем, и на скрипке сыграем, пусти на одну ночь». Я после них потом постель завшивленную как вынесла, так она у меня и пропала под дождями. А тебя, маленькую, уходя, просили только до зимы пригреть, да так и сгнули на семнадцать лет. Вернулись уже седыми. Цыгана седого помнишь, в парке играл? На скрипке-то? Смуглый такой, угрюмый чёрт... Говорят, он в Большом театре когда-то концерты давал... Папаша твой... И ведь не подошёл, не посмел, не объявился, думал, я его не признаю. Сестру свою подослал, лазутчицу. Не промолчи я, Ванька твой и не женился бы на тебе – безродной. Зачем ему цыганское исчадь?! Карма-то у тебя страшная. Дитя мёртвое родилось. Второе погибло. Не дочь ты мне, знай!!! И я тебе не мать!!!

Хлопнула матушка дверью, да ещё раз вернулась:

– Юлиан имя его – ...отца твоего, а мать твою он убил – изверг! Маритой звали... Нет у тебя матери!..

Может, и пожалела матушка о своей горячей исповеди, может, и покаялась потом сто раз, да только Мария простила ей всё, узнав правду о себе и своих родителях. Странно, что не было зова крови, когда она видела того седого цыганамузыканта, странно, что сердце ни на миг не почувало родную душу. Просто было невыразимо прекрасное ощущение солнечного берега моря.

Держал скрипач смычок, подобный волшебному лучу. И плакал луч о жизни и смерти, о знойном синем Босфоре, о всех влюблённых – юных и седых. Играл скрипач, стоя по колено в бледном куреве-хмуреве тумана, словно плакал о далёкой родине, о всех грешниках и святых. Играл, витийствовал. Встречал и провожал прохожих, даря каждому маленькое чудо, подобное солнечному свету. И только теперь было ясно, почему, когда Мария, жаждающая многообещающего и светлого откровения-импровизации, поравнялась с ним тем далёким летом, старый скрипач вдруг... замолчал.

Обо всём могла говорить его скрипка, но только не о той послевоенной голодной весне, когда Юлиан взревновал свою жену к влюбившемуся в неё артисту, с которым хотела бежать она. Настиг их обезумевший цыган, отец Марии. Долго говорил он под снежным сырым ветром с женой, умоляя не бросать его и маленькую дочку.

Однако гордая цыганка, безрассудно полюбившая другого, напомнила суровому Юлиану его грехи: был Юлиан в молодости конокрадом, занимался контрабандой, слыл грубым и жестоким среди своих. К тому же задолжал он отцу Мариты деньги, и долг был таким, за который по цыганским законам собирались его убить.

– Уйди, проклятый, чтоб отсохли руки твои загребущие! – закричала Марита.
– Не быть мне твоей, грязный обманщик, ни за что не быть!

* * *

Обо всём могла говорить скрипка, но только не о том, как побелел Юлиан от жестоких слов, пошатнулся и вонзил нож в самое сердце Мариты. Плача, стоял он среди рыдающего табора с двухлетней дочкой возле бездыханного тела возлюбленной... И висели на его шее долги, которые надо было отдавать ценою жизни.

Обо всём могла плакать скрипка. Но только не о том, как попадёт он в Грузию, а потом в Тюмень, а потом и к чёрту на рога. И только не о том, как, вернувшись из тюрьмы спустя семнадцать лет за дочерью и узнав, что она выходит замуж, не посмеет, не посмеет он встать мрачной тенью на пороге её счастья.

Что наигрывал он мысленно вслед Марии? Бесконечный вопль раскаяния и вины своего бедного сердца. Счастливое безгласное изумление её красотой и царственной статью юности, в которой чудилась его былая возлюбленная, несчастная Марита.

